

Владимир
АЛЕЙНИКОВ

Нескончаемый дар



Владимир Дмитриевич Алейников
Нескончаемый дар
Серия «Современная книга.
Поэзия, проза, публицистика»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11953933
Алейников В. Д. Нескончаемый дар: Алетейя; СПб; 2015
ISBN 978-5-906792-04-4

Аннотация

Книга «Нескончаемый дар» – продолжение обширной и увлекательной серии книг известного поэта и прозаика Владимира Алейникова о минувшей сложной эпохе, о ярких творческих людях этой эпохи, друзьях и соратниках автора по отечественному андеграунду. Это и уникальный документ времени, и проза поэта, свободная, ритмическая ассоциативная, полифоническая. Книга Алейникова привлечёт к себе внимание читателей.

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Владимир Алейников

Нескончаемый дар

© В.Д.Алейников, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

I

– Сколько ты книг написал, вот за эти несколько лет, пока мы с тобой не виделись, или почти не виделись, – почему-то пытливо, но мне показалось – отчасти ревниво, хотя такой вопрос вполне мог быть и просто-напросто проявлением обычного людского любопытства, спросил меня Андрей Битов, когда мы, с моей женой Людмилой, навестили его в самом начала семьдесят девятого года, ещё зимой, в его большой, по нашим тогдашним понятиям, пустоватой и не то чтобы запущенной, но без явных примет уюта, квартире, в панельном доме, бирюком стоявшем в окружении ему подобных, среди снегов, далеко от центра столицы, в одном из густо и пусто застроенных городских районов, – наверное, книг пять написал?

– Девять книг, – сказал я.

Андрей поднял брови и округлил близорукие глаза.

И принялся заваривать чай, по маминому способу, вначале обдавая внутренность маленького заварного чайника крутым кипятком, потом выливая этот дымящийся кипяток в раковину, потом засыпая в чайник заварку, потом тщательно закутывая ровно наполовину залитый кипятком чайник ловко пристроенной сверху плотной, тёплой тряпочкой и давая чаю возможность хорошенько настояться – и только потом уже, минут через пять, когда чай основательно настоялся и

пахнул как следует, как ему, чаю, полагается пахнуть, в чём Андрей самолично не преминул убедиться, развернув тряпочку, приподняв крышечку чайника и придирчиво понюхав ароматный пар – и тут же, уже полностью, залив неглубокую,пряно темнеющую утробу разогревшегося пёстренького чайника всё ещё дымящимся, может просто по инерции, а может и по другой какой причине, сизовато-белёсым, хлористым кипятком, неторопливо, по-хозяйски привычно, по-дружески щедро, наконец разливая в заранее расставленные на пустынном кухонном столе чашки густую, коричнево-черную, крепкую заварку, заполняя каждую чашку, да краёв, тем же, видимо никогда не иссякающим, дымящимся кипятком из ничем не примечательного, кроме своей вместительности, крутобокого чайника для кипячения воды, на всём протяжении процедуры этой поминая свою маму, Ольгу Алексеевну, добрым словом.

И вот, через девять деепричастных оборотов, мы втроём сидели на кухне и пили чай.

Чай на троих.

До тех пор, покуда не пришёл приятель Андрея, писатель Юра Коваль, и не принёс водку.

Был Коваль в данном случае не столько писателем, сколько спасателем. Водка нужна была двум приятелям для поддержания жизненных сил.

Вместе с водкой принёс Коваль и взятый им на прочтение, только что изданный «Ардисом» роман Битова «Пуш-

кинский дом», вся история написания которого прошла на моих глазах, а с возвращённой книгой принёс он в холодную квартиру и свои горячие восторги. Согревала, конечно, и водка.

По комнатам гулял сквозняк. В форточку с улицы залетал мелкий, долго не тающий снег.

Мы с Людмилой заторопились домой. Простились. Вышли на лестничную площадку.

Слышно было, как за нашими спинами звонко хлопнула форточка в кухне и глухо ухнула входная дверь.

Там, позади, в квартире, остались подаренные мною Андрею картинки и объёмистая самиздатовская рукопись – недавно, чуть ли не накануне нашего приезда сюда, составленное и на больших и плотных листах бумаги, формата, как теперь любят, столкнувшись, лбом ко лбу, со свободным книгопечатанием, говорить, А-4, довольно густо, но аккуратно перепечатанное на приобретённой минувшей осенью, в ущерб семейному бюджету, по причине острейшей необходимости, то есть – для работы, югославской машинке «Унис», портативной, лёгонькой, с таким симпатично скруглённым, приятным для глаз, маленьким шрифтом, в трёх экземплярах, лучший из которых был выбран старому товарищу в дар, избранное, из новых, на то время, почти никому ещё не известных, – немного позднее, месяца через два-три, они начнут своё подспудное, но неудержимое, с постоянно увеличивающимся количеством копий, то есть с неуклонно

разрастающимся машинописным их тиражом, хождение по всей стране и за её пределами, и знать их будут уже весьма многие любители и ценители не издававшейся при советской власти официально, но, по причине тогдашнего нашего, всеобщего, противостояния этой власти, да ещё и наперекор ей, из всегдашнего нашего упрямства, ещё как «издававшейся», домашним способом, отечественной поэзии, – пяти моих книг.

– Слушай! Ты же большой поэт! – сказал мне Женя Рейн в восемьдесят шестом году, перебирая, листок за листком, лежавшую перед ним на захламлённом столе большую самиздатовскую перепечатку моих стихов, которую я давал ему на прочтение, да так потом у него и оставил.

Вид у него при этом был несколько изумлённый.

По всему выходило, что ознакомился он с моими писанинами совсем недавно, может быть – только что, перед моим приходом.

Я посмотрел на него с некоторой грустью – и ничего не сказал.

Он, раздувая и без того толстые губы и пыхтя, этак вдохновенно даже, во всяком случае – оживлённо, а может и в самом деле заинтересованно, продолжал перелистывать мою перепечатку, и при этом ещё и зачитывал вслух отдельные, выхваченные из стихов, это чувствовалось наугад, но, в его подаче, особенно пришедшиеся ему по вкусу, куски.

Я работал тогда редактором в издательстве «Современник».

Оказался я там совершенно случайно.

В восьмидесятых я перебивался мелкими заработками. Надо было кормить семью. У нас с Людмилой росли две дочери – Маша и Оля. Постоянно нужны были деньги – на всевозможные домашние нужды, а их, этих самых денег, столь же постоянно или, можно сказать, хронически, или не было вовсе, или же для более-менее нормальной жизни просто-напросто не хватало.

Вот я и подрабатывал, где придётся.

Некоторые мои доброжелатели давали мне возможность немного заработать, сочиняя так называемые внутренние рецензии для издательств.

Платили за эти труды мало, хотя читать приходилось мне очень много рукописей – целые горы их громоздились в комнате, и каждая из них ждала объективной рецензии.

Всё это отнимало массу золотого времени.

Однако, я смирял себя, как умел, уж как получалось, и честно отработывал свои средства к существованию, как я обычно зарабатывал свои, нерегулярные, а то и вовсе редкие, странным, даже диковинным порою, прерывистым пунктиром проходящие сквозь всю непростую жизнь мою, несколько иронически, вроде бы хорохорясь, храбрясь, да всё же с

изрядной долей привычной, увя, печали и с прорывающимся наружу из-за десятилетиями создаваемой стены терпения горьким вздохом, вовсе не на людях, конечно, – Боже упаси! – а в своём кругу, среди своих, среди тех, кого я хорошо и давно знал, кому верил безоговорочно, с кем пудами ел пресловутую соль юдольную, тогда называл.

Постепенно к моим рецензиям стали в издательствах относиться с интересом, всё более возрастающим, а потом и с нескрываемым вниманием, тоже всё увеличивающимся.

Со мной даже стали советоваться – иногда.

Мне даже стали специально заказывать – видимо, как знатоку поэзии и вообще литературы, не иначе, – рецензии на спорные или особо важные рукописи.

Мне даже стали чуть больше платить.

Некоторые издательские работники начали настоятельно мне советовать сделать из моих рецензий книгу статей о современной советской литературе, и даже не одну, а несколько книг.

Тут-то я и забил тревогу.

Выслушав однажды очередные похвалы – как не просто потенциальному, а давно сложившемуся, как выражались в издательствах, литературному критику, возвратился я домой и призадумался.

Обычно я оставлял себе третий экземпляр каждой рецензии – на всякий случай, так полагалось, так принято было.

Посмотрел я внимательно, напрягшись весь и сощутив-

шись, как это у меня бывает, говорят, перед решительным поступком, на кипы этих самых рецензий – и ярость меня охватила.

Да что же это такое? – подумал я вдруг, – да зачем всё это мне нужно? Сколько же ещё месяцев, а то и лет, вся эта бредятина, совершенно не нужная мне, будет продолжаться?

Нет, хватит! Баста!

Ринулся я к ставшим в одночасье ненавистными для меня кипам рецензий, схватил в охапку столько этого добра, сколько мог за один раз унести, а потом – к двери, а потом – к мусоропроводу, – и, сминая и заталкивая вовнутрь густо испечатанные листы, выбросил всё, что было у меня в руках.

Так вот, в несколько приёмов, и выбросил все рецензии в мусоропровод.

И сразу – успокоился.

Полегчало. Нет, отлегло.

Светлее как-то стало на душе.

Мудрая жена моя Людмила меня не удерживала.

Наоборот – поддерживала.

На моей была стороне.

Я это чувствовал. Нет, понимал.

Понимал, что она-то – всё понимает.

– Ну и ладно! – сказала Людмила. – Пиши свои стихи! – а потом, подумав, добавила: – А для заработка займись-ка посерьёзнее переводами.

И я, покончив с писанием рецензий, занялся переводами. И дело у меня почему-то пошло, на ура – не скажу, потому что бывали и трудности, но, однако, пошло – по нарастающей.

Всё равно ведь стихи мои не издавали!

Так хотя бы какие-то публикации...

Как на духу, говорю, признаюсь, потому что чего там скрывать и зачем, – всё равно ведь все эти тексты, на основе подстрочников, разумеется, но – свой арсенал изобразительных средств используя, свои возможности каждый раз проверяя, своё дыхание им дав и свет свой, – сам я тогда писал.

Но это было позже.

А пока что я канителился с внутренними рецензиями.

Кто-то из доброжелателей предложил мне написать такие рецензии для «Современника».

Привыкший делать всё на совесть, вместо коротеньких рецензий я написал несколько обстоятельных статей.

Они поразили воображение издательского начальства.

Мне, человеку без всякого социального статуса, в досталь нахлебавшемуся разной горечи и отравы, так и хлеставшей из прошлых, с немалыми трудами прожитых и чудом, наверное, пережитых, застойных, как привыкли у нас выражаться, а по мне – так моих, а не чьих-нибудь, пусть и кошмарных, но зато и всегда озаряемых творчеством лет, навидавшемуся в этом ещё довольно близком далеке такого, чего и врагу

не пожелаешь, намаявшемся за десятерых в этом столь памятном отдалении, будто всего-то в каких-нибудь нескольких шагах находящемся, ну пусть не шагах, а в нескольких километрах, не всё ли равно, в качестве прошлого ещё и не воспринимавшемся даже, а просто грустным, земным, человеческим опытом отзывавшемся, из всех этих бездомниц, неурядиц, скитаний, бед, из упрямства, тоски, обретений, из желания выжить, из всего, что со мною стряслось, что хотел я с себя стряхнуть, чтобы дальше идти вперед, чтобы чуть свой верный путь, из всех этих противоречий, ещё не вполне устоявшихся в сознании, чтобы осмыслить их, как это произошло несколько позже, на более длительном временном расстоянии, уже в девяностые годы, на закате столетия, даже прямо сейчас, только что, в любое из возникающих и тут же уходящих, тут же прожитых, пережитых мною, не поймёшь уже – то ли сызнава, то ли внове, мгновений клубящейся где-то поодаль, но и, вроде бы, находящейся – вот она – рядом, ненастной и ясной, туманной и чистой, как небо в окне, над Святою горою, эпохи, – ну так вот, – мне, тогдашнему, тогда уже немолодому, затравленному, с некоторой опаской оглядывавшемся вокруг, с трудом приходящему в себя, – вдруг, с ходу, с места в карьер, ни с того ни с сего, почему – неизвестно, просто так, от щедрот, от души, или, может, почувствовав просто, что справлюсь, предложили работать у них редактором.

Идти на советскую службу мне не хотелось.

Но друзья – ох уж эти друзья! – или те, кто казались друзьями? – не знаю, поди разберись, да и надо ли в этом теперь, на закате столетия, вдруг разбираться? – уломали меня, уговорили-таки преодолеть давнишнее отвращение ко всякого рода государственным учреждениям, убедили пойти на редакторскую должность – хорошо зная мою отзывчивость и серьёзное отношение к дружбе, – и, понятное дело, надеясь, что уж я-то, наверно, сумею помочь хоть кому-нибудь из общих знакомых с изданиями.

Да ещё и Людмила сказала:

– Попробуй! Может к людям привыкнешь. И люди привыкнут к тебе. Ты поэт – и политикой сроду ведь не занимался. Всем пора бы давно это знать. Что же это выходит? Пишешь ты лучше всех, а живёшь – хуже всех. И никто тебе толком ни в чем никогда не помог. Сколько всё это будет тянуться? Так чего тебе ждать? От кого? И зачем? Был и раньше ты сам по себе. Сам, такой уж, как есть. Независимый. Гордый. Упрямый. И сейчас ты – такой. Да и впредь ты останешься, знаю, вот таким, как уж есть, всюду – сам по себе, – независимым, гордым, упрямым. Знаю, марку ты держишь. И душу спасаешь. И честь. Но пойми: ведь у нас, между прочим, семья. Маша с Олей растут. Их поди прокорми, и одень, и обуи. И квартира тесна. И живём в нищете, да и только. Ну, почти в нищете. По-людски нам удастся ли жить? Что ночами на кухне сидеть, да курить, да чай беско-

вечно гонять, да стихи свои вечно писать, – пусть с годами всё лучше и лучше они? Зарабатывать – надо. Пригласили – иди. Может, как-то воспрянешь, оживёшь, Да и людям поможешь. И доброе сделаешь что-то. Засиделся ты дома. На службу зовут – так иди!

И я, скрепя сердце, пошёл на эту службу.

Меня сразу же завалили работой.

Даже дома у меня шагу нельзя было шагнуть, чтобы не наткнуться на груды лежавших повсюду папок с рукописями, которые следовало прочитать, отдать на рецензирование и написать редакторское заключение на каждую из них.

Так прошло около года.

Когда я наконец огляделся вокруг и отчасти пришёл в себя от этих бесконечных трудов, то ужаснулся тому, где я нахожусь и с какими людьми, совершенно из другого теста вылепленными, рядом работаю.

О моём смогистском прошлом и о круге моих знакомых в издательстве прекрасно знали, но – почему-то делали вид, что ничего такого вроде бы и не было.

Разве иногда только кто-нибудь шпильку подпустит или намекнёт, будучи подвыпивши, в основном, на что-нибудь, что меня сразу же ранило или просто выводило из себя, – знаем, мол, кто ты на самом деле таков, знаем, что ты вовсе не наш, и всё вообще про тебя хорошо мы знаем, – и подразумевалось, конечно: погоди, погоди, ничего, мы ещё до тебя

доберёмся!..

А начальство – помалкивало.

Иногда только кто-нибудь из них этак выразительно поглядывал на меня – и я сразу чувствовал: всё они, черти, знают!

Всё это озадачивало меня.

Чего мне ждать? К чему быть готовым? Как вести себя?

Я старался держаться по возможности спокойнее – и по-прежнему много работал.

Неприятности начались, когда я всё смелее стал проявлять инициативу, всё чаще и настойчивее начал предлагать к изданию достойные, на мой взгляд, рукописи.

Я помог издать книгу Володе Бойкову. Его рукопись я совершенно случайно увидел в месиве редакционного «самотёка» – и, тут же прочитав, изумился тому, насколько же это хороший, жизнелюбивый, стойкий, во всех совершенно отношениях самостоятельный, обладающий ведическим мироощущением, негромким, но чистым голосом, ясной, как зимний, с морозом и солнцем, денёк, интонацией, по-своему, прямо и твёрдо, продлевающий дыхание русской речи, светлый поэт.

Я разыскал его и познакомился с этим коренастым бородачом, происходившим, конечно же, как я сразу и предпо-

ложил, из старинного казачьего рода. Ощущение от встречи было таким, будто знали мы друг друга всю жизнь. А вскоре мы с ним и подружились. И дружба наша – в этом я уверен – настоящая. И я этой дружбой – дорожу, вот уже добрых пятнадцать лет. Не стану сейчас расписывать, с какими боями и муками выходила в свет книга Бойкова. Об этом, как и о многом другом, что имеет прямое отношение к нашим судьбам и нашим стихам, с превеликими трудностями, да и то далеко не всегда, из самиздатовских перепечаток превращавшимся в изданные книги, да и нынче, стоит прямо сказать, во множестве так и пребывающим, несмотря на нынешнее, якобы свободное, бесцензурное, книгопечатание, в том же самом, прежнем, давно привычном для нас, поэтов, самиздатовском состоянии, как в некоей давно уже обжитой, родной, для многих, среде, а может быть, и стихии, – расскажу я, возможно, потом. Важно, что книга Володина – вышла.

Я подготовил рукопись книги Саши Величанского.

Лиза, его жена, пришла ко мне в редакцию с просьбой – помочь старому другу.

Сам Саша прийти не мог, по причине болезни, – к тому времени он перенёс уже два инфаркта.

Я сказал, что сделаю для него всё возможное и даже невозможное – и предложил Лизе принести мне как можно больше Сашиних стихов.

Она принесла ворох самиздатовских перепечаток.

Я внимательнейшим образом прочитал все эти тексты и сам составил из них книгу.

И поставил Сашу в известность о единственной оговорке: следовало учитывать, что книга его готовилась для отечественного издательства.

Со свойственной ему прямоотой Саша сказал мне, что с содержанием книги он на девяносто девять процентов согласен.

И книга его в итоге – пусть и не так скоро, как всем нам этого хотелось бы – тоже вышла.

Я помогал всем, кто обращался ко мне, насколько это было – для меня, всё время что-то хорошее старавшегося делать, возможно – в непростых, это если поверхностно, вскользь говорить, а на деле – так жутких, да и только, условиях, – поневоле ощущая себя каким-то подрывником, что ли, в недрах государственной, издательской, хорошо отлаженной и к чужеродным вторжениям относящейся, в общем-то, нетерпимо, – для других же, советских людей, литераторов разных, безголосых, безликих, всеядных, бесчисленных, оптом – бесцветных, и для тех исполнителей, что становились придатками всей этой странной системы, даже очень удобной, привычной, своей, безотказной машины, – помогал, всё равно, несмотря ни на что, – помогал.

Сознавая свой долг и всю ответственность за серьёзное

издание, тщательно готовил я большую книгу Максимилиана Волошина.

С нею связано много драматических событий.

Предваряя это, столь важное для меня, издание, написал я и опубликовал в периодике статьи о Волошине, а вместе со статьями сделал и публикации некоторых, очень сильных, при советской власти долгие десятилетия не издававшихся его стихов.

Я созвонился с Анастасией Ивановной Цветаевой и проконсультировался с нею по некоторым, важнейшим, даже сокровенно, для нас-то с нею понятным, вопросам.

Заручившись согласием одного коллекционера, давно связанного с Домом Поэта, многие годы тесно общавшегося с Марией Степановной Волошиной, обладавшего поистине уникальным собранием всевозможных волошинских материалов, я привёз к нему в дом издательских людей – художественного редактора и фотографа, и они, непрерывно ахая и охая при виде так вот просто, вдруг, да так щедро, так, что прямо голова кругом идёт, открывшихся им сокровищ, сняли на слайды никогда ещё не репродуцировавшиеся, великолепные волошинские акварели, настоящие шедевры, а также пересняли и некоторые выразительные фотографии давних времён, и всё это делалось для иллюстрирования будущей книги Волошина.

Я списался с Владимиром Купченко, прежним, самым первым, директором Дома-музея Волошина, человеком, знавшим о Волошине абсолютно всё и располагавшим совершенно всеми волошинскими текстами, поскольку он, как позже, вздыхая, говорили исследователи, живя в Доме Поэта, своевременно, да ещё и наверняка по чутью, то есть верно и, главное, поступив, как потом уже оказалось, правильно, совершив не поступок даже, а подвиг, переписал собственноручно каждую строку из волошинского архива, находившегося, как известно, стараниями Марии Степановны, десятилетиями, и даже в годы немецкой оккупации, да и во все периоды советского режима, в идеальном, безукоризненном состоянии, здесь, в Доме, и только позже переданного в государственные хранилища.

Купченко в восьмидесятых, насколько мне было известно, много занимался наследием Волошина – и, в меру своих возможностей и с учётом тогдашнего полузапрета на имя поэта, изредка делал кое-какие публикации.

Уже несколько позже, с уходом советской власти, стал он крупнейшим специалистом по Волошину.

И слава Богу, что – так.

А тогда он был если не в загоне, то уж точно в полузагоне, тем более – после серьёзных, пережитых мужественно, и всё-таки серьёзно ударивших по нему, неприятностей с властями.

Я рассудил, что дело это прошлое – и, авось, всё как-нибудь нынче обойдётся, всё, даст Бог, пронесёт.

Важно ведь было – выпустить, коли такая возможность в кои-то веки представилась, книгу Волошина.

Я предложил Купченко быть составителем книги, а также написать предисловие и сделать комментарии.

Кому, как не ему, было это делать?

Он откликнулся мгновенно.

Радости своей он не скрывал – и его радость передалась и мне.

Ещё бы! Наконец-то – книга Волошина. Да ещё и стихи в ней – о гражданской войне, о судьбах России.

Мы вели с Купченко оживлённую переписку.

Всё, казалось бы, шло как надо.

И тут – вдруг, неожиданно, быть может, а возможно, совсем не случайно, как в трагедии, в нужное время, в неизбежный свой час, – грянул гром.

Недавно работавшая у нас младшая редакторша, скромная, худенькая, миловидная, молоденькая – донесла начальству, что Купченко – вовсе не тот человек, которого следует привлекать к сотрудничеству с издательством.

Она оказалась женой лихого паренька, сына одного из художников Кукрыниксов, – я позабыл сейчас его фамилию,

да это и неважно, – важным оказался тот факт, что именно этот вот молодой, поощряемый и науськиваемый властями, делающий свою советскую карьеру, очень даже подходящий, по всем статьям, для такого случая, весьма сообразительный и услужливый паренёк – был одним из авторов нашумевших в своё время, громивших, изничтожавших Купченко, крокодилских фельетонов, после появления которых в печати вынужден был Купченко навсегда покинуть Коктебель и пережил множество невзгод.

Молоденькая редакторша проявила расторопность и служебную бдительность – и, переполненная осознанием правильности гражданского своего, разоблачающего явных и скрытых врагов советской власти, вполне естественного, в её понимании, и даже больше, закономерного и оправданного, порыва, – принесла эти старые номера журнала «Крокодил», с язвительными карикатурами и убойными фельетонами, в обход всех нижестоящих инстанций, и, это уж само собой, никак не реагируя на мои протесты и решительные попытки её остановить, – прямо в руки издательскому начальству.

Разразился, тут же, немедленно, в тот же миг, натуральный скандал.

Так сказать, в духе лучших, советских, незаёмных, со стажем, традиций.

Издательские деятели негодовали. Как? – чтобы у нас в «Современнике» сотрудничал антисоветчик? Не бывать этому! И кто это его сюда, к нам, протаскивал? Ах, Алейников! Ну, вот и проявил он себя, наконец! Как волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Приняли его на работу в советское учреждение, понимаешь, в крупное издательство, – а он вон что вытворяет! Своих дружков да знакомых, субъектов, с нашей точки зрения, сомнительных, потихоньку норовит публиковать! Вот и открыл он всем нам своё подлинное лицо. Вот, видите, товарищи, что это за человек такой, этот Алейников. Сам – смогист. Сам – диссидент. Ну, может, и не диссидент, но якшался с ними. Да и сейчас, наверняка, якшается. На Западе публикуется? Публикуется. Факт? Факт. Зарубежные голоса про него вещают? Вещают. Сами слышали. И не однажды. Случайно, конечно. Не специально ведь искали. Искали-то «Маяк», да и наткнулись на «Свободу». Вот и слышали. И ведь знаете, что про него все эти обслуживающие наших врагов умники говорят? Что он, этот самый Алейников, – большой русский поэт. Да-да, представьте себе, Такое услышать – за голову возьмёшься. Да кто он такой, этот Алейников? Что-то у нас в стране писания его не больно-то знают. Кто их знает, вообще, если уж на то пошло? Вот Рубцова – все знают. И Тряпкина. И нашего Юрия Кузнецова, – вот уж кто поэт так поэт, все мы знаем его, и любим, и чтим. А тут – какой-то Алейников. Большой русский, понимаете ли, поэт, – и всё тут. Это они, там, у себя на Западе, так счи-

тают. Ну и пусть себе считают. Мы, здесь, у себя, в Советском Союзе, так вовсе не считаем. Да, не считаем. И не хотим так считать. У нас здесь свои поэты имеются. Понятные людям. А этот Алейников... Ну, читали мы, конечно, его стихи, читали. Приносили нам, для ознакомления. Сами понимаете, надо было всё-таки – ознакомиться. Мало ли что! Полистали мы, ознакомились. Ну и что же можно сказать? Так себе всё как-то, этак. Поток – он и есть поток. Фантазии, видения. А реальность где? Изображение нашей жизни – где оно? Гражданственность – где? Простое, понятное всем, всем доступное слово – ну где оно? Так всё как-то, гладенько, музыкально, конечно, ничего тут не скажешь, но уж очень всё обтекаемо, да и смутно, очень уж смутно, всё звучит да звучит – ни о чём, всё струится себе да льётся что-то странное, вроде речи, вроде музыки. Ну и что? Да мы лучше Кудимову, с её откровенной бредятиной и грубой бабьей правдой-маткой, печатать будем, чем этого сверхмузыкального, ровного, вроде, а всё же заумного, со всей этой его пресловутой культурой, со всей его сложностью, «большого русского поэта» Алейникова! И вообще, если уж на то пошло, многое из того, что характеризует его как не нашего, не советского человека, мы знаем. Знаем, знаем. Разговоры, высказывания, суждения. Всё мы про него знаем. Всё мы видим. И даже такое, чего другие не видят. Или не хотят почему-то видеть. Ну, с этим, сразу надо сказать, мы ещё разберёмся. Мы – обязаны всё знать. Обязаны – быть всегда начеку. Мы – сила. Нас –

власть на ответственные должности назначила. Нас – партия сюда поставила. Вон Михаил Сергеевич – вот он, на портрете, – смотрит на нас с укором, – как он сказал? «Начни с себя!» – вот как он сказал. Вот мы, в данном случае, и начнём – с себя. Недосмотрели. Не проявили бдительность. Эх, да что там! – правду надо рубить с плеча! – маху дали, по-русски, по-простому, по-честному говоря. Пожалели страдальца. Посочувствовали бедному, нищему, обременённому заботами о семье поэту. Взяли на работу к себе, – можно сказать, с улицы. А он – вон он как проявился! Разобраться – и немедленно! Купченко – отказать в сотрудничестве. Решительно, пожёстче отказать. Так, чтобы впредь неповадно было соваться в государственное издательство. Да ещё и такое, как «Современник». Здесь враги не пройдут. С книгой Волошина – не спешить. Посмотреть ещё надо, повнимательнее, что там, в рукописи, за содержание. В случае чего – другого, подходящего для нас, подыщем составителя. Есть тут один на примете. Знает, что приемлемо для нас, а что – категорически не приемлемо. Литературовед. Опыт есть. Дело своё знает. Вот ему и предложим работу. Составление, предисловие, комментарии. Словом, всё. Разберётся. И мы – разберёмся. С Алейниковым – тоже разберёмся!..

И пошло, и сдвинулось тут же с места, сразу шагнуло куда-то, наверное, прежде всего, туда, куда полагается, а потом уже и разветвилось, боковыми путями, окольными, незамет-

ными, тихими тропками, расслоилось, в разные стороны поползло, проникло, внедрилось, усвоилось, прижилось, и поехало, да всё дальше, полетело, может и кубарем, ну а может быть, и на крыльях, нет, скорее всего, на колёсах, красных, видимо, вездеходных, всё сминающих по дороге, превращающих в пыль, в труху, вроде тех, пресловутых, бульдозерных, всем известных, ставших невольню то ли притчею во языцех, то ли символом характерным обострившегося бесчашья, и поехало, и пошло, и звалось это просто: зло...

И вот меня стали травить.

Сразу припомнили моё прошлое – да так лихо, споро, уверенно, – на удивление прямо!

Все мои попытки побить в печать что-нибудь стоящее разбивались, как об стену.

Положение становилось невыносимым.

На меня писали всякие «телеги», доносы и жалобы во все тогдашние грозные инстанции – в ЦК партии, в Госкомиздат, в газету «Правда», в правление союза писателей, – и кто его знает, куда ещё.

Недоброжелатели мои – особенно преуспевающий советский поэт, лауреат госпремий, притворный правдолюбец и липовый русофил, некий Алексей Марков, на мой взгляд – бездарь и графоман, этакий хлипкий, скользкий, жидковолосый и пегобородый, полупереточный, полупартийный мужичок, себе на уме, хитрован, злобой налитый по лысеющую

макушку, но ещё и злопамятный, и злокозненный, как оказалось, которому я, редактор, на корню зарубил составленную им толстую рукопись «Венок Некрасову», где, помимо, текстов кучки прочих маловыразительных авторов, львиную долю составляли, разумеется, сочинения самого Маркова, усиленно радевшего о России, о русскости, обо всём, что ни есть только русского в мире, где белый свет всё-таки, по старинке, кое-кому да мил, буквально потрясшие меня и не на шутку огорчившие своей беспомощностью, донельзя низким уровнем художественности, отсутствием света, дыхания и живого слова, расстарался, проявил инициативу и, конечно, усердие, не поленился полистать мою книжку «Предвечерье», посмеялся, пофыркал, как потом уже говорили мне, над её содержанием, вместе с дочерью, Катей Марковой, будущей очередной женой моего приятеля молодости Юры Кублановского – вот какие пируэты порой вытворяет судьба! – и выступил Марков, с речью, гневной, понятно, выступил, и – обличал меня, читай – доносил, крича: «Кого вы здесь собираетесь принимать в наш союз писателей? Алейникова? Антисоветчика? Смогиста? Да он на Западе издаётся! Да про него радиоголоса вещают! Опомнитесь! Спыхватитесь! Что же вы, товарищи, делаете? Нет, не место в союзе писателей этому Алейникову! И стихи у него неважнецкие. Вот мы ночью читали его книжонку с дочкой и уж так смеялись, ну ржали прямо. Ишь, какие поэты развелись, непонятно, откуда. Я вызвался быть, оппонентом. И я первый – против приё-

ма Алейникова! Нечего ему делать в нашей организации!» – распинался перед приёмной комиссией оппонент мой, как оказалось, да ещё и какой – патриот и лауреат, Алексей, понимаешь, Марков, – так потом, на ушко, потихоньку, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не услышал и не донёс, мне рассказывали, – и я улыбался спокойно и грустно, ко всему привычный, смотрел на рассказчика – и молчал, – что за люди? или же – нелюди? – что за время? – да перестроечное, перестроечное, конечно же, перетроечное, передвоечное – словно в школе, да околичное, да двуличное, неприличное, не тепличное, не опричное, так, непрочное и порочное, не барачное, не оброчное, непривычное, неэтичное, – словом, обычное, наше с вами, бывшее, общее, за которым – развал и бред, – вот и Марков исчез в нём, и прочие, скопом, канули, – разнорабочие, отработали – да и сгнули, всех их, оптом, во тьму задвинули – отработанное, ненужное, сор эпохи, бесплотный хлам, – но пришли другие старатели, в новых масках – недоброжелатели, и не лучше они предшественников – много хуже, и рожи – злые и поганые, – те, бывшие, сделали всё для того, чтобы не принять меня в союз писателей.

И – не приняли.

Хотя, как потом выяснилось, ничего не ведавший о заседании приёмной комиссии, большинство голосов я всё же набрал.

Я чувствовал, что контролируют каждый мой шаг, по-сво-

ему, превратно, истолковывают каждое моё слово.

Напряжение было огромным.

Чередой пошли гипертонические кризы – последствия многожды разбитой, неизвестно – кем, оставалось – только гадать, да ещё, как ни грустно, – догадываться, разбиваемой – с тяжёлыми последствиями, с нешуточными травмами и сотрясениями мозга, обычно – после моих квартирных чтений стихов, иногда – и в других ситуациях, но всегда – со знанием дела, и не просто умеючи, нет, – очень точно, наверняка, то есть именно так, как следует бить, конечно – профессионально, разбиваемой – методично, раз за разом, целенаправленно, покуда я и вовсе не перестал читать стихи на людях, и всё реже, реже стал выбираться из дому, даже к знакомым, даже к друзьям, особенно вечерами, – головы моей, разбиваемой, добиваемой, убиваемой, но, однако же, уцелевшей, только боль – до сих пор при мне.

А тогда боль бывала просто невыносимой.

Я терял координацию. Бывало, падал прямо на улице. И никто меня не поднимал. Думали, небось, что пьяный. Поднимался – всегда сам. Восставал. Как умел. И шёл – дальше.

Меня замучили бессонницы. Тот, кто знает, что это такое, – поймет меня без слов.

Порою болело буквально всё – руки, ноги, глаза, суставы. Я – терпел. Надо было – работать.

В итоге, после издательской очередной нервотрёпки, только я добрался домой, у меня отнялись ноги.

Трое суток, в период жуткого, ни на что не похожего криза, измотавшего так основательно и настолько жестоко меня, что мерещился где-то поблизости ледяной холодок погребли, норовящий проникнуть в душу, я не мог подняться с постели.

В литфондовой поликлинике, где я, как сотрудник издательства, да ещё и до этой поры, как член одного из профкомов литераторов многочисленных столичных, тогда состоял, врач, сверкнув на меня очками, за которыми сразу почувял я намётанный, цепкий взгляд, внимательно осмотрел меня, нахмурился, озадачился, – и, едва с моих слов узнав, где именно я работаю и тут же, без всякой наигранности, резко всплеснув руками, сказал мне жёстко и прямо:

– Или – в гроб, или тут же, немедленно, уходите из этого, знайте, губительного для вас, издательства. Ну, выбирайте!

И я ушёл из издательства, – ушёл, напоследок всё-таки высказав кое-кому, что я о них думаю.

Месяца три после этого приходил помаленьку в себя.

И дал себе твёрдый зарок – впредь никогда не идти на ненужную мне, государственную, для меня опасную, службу.

Что, с Божьей помощью, – верю в это, – и осуществил.

Но всё, о чём я рассказывал, произошло несколько позже.
А сейчас...

Рейн пришёл ко мне с просьбой – с огромной просьбой, с глубокой, личной просьбой – помочь ему выпустить книгу в этом издательстве.

Знал – куда шёл.

Знал – к кому шёл.

И я помог ему.

Я сделал для этого всё, что было в моих силах.

Не стану сейчас рассказывать, чего мне это стоило.

Зачем поражать воображение молодых моих современников, и слыхом не слыхивавших о подобных страстях, и представить нынче не способных, за неимением собственного, на своей шкуре, опыта, что такое было возможно, что такое было обычной реальностью, в ещё сравнительно недавние, советские, пусть и перестроечные, времена?

Я шёл направо.

Двигался целенаправленно, сознательно, только вперёд и вперёд.

Я представил более чем достаточно аргументов, да таких, что после всего этого не издать книгу Рейна вроде бы и никак нельзя было, неудобно как-то, неловко получилось бы.

Я шёл направо – и победил.

Рукопись Рейна, подкреплённую обеспеченной мною хорошей рецензией и моим убедительным редакторским за-

ключением, помявшись-таки, покряхтев, поморщившись, повздыхав, но – куда денешься? – время такое, – придётся издавать, – надо! – поставили в издательский план.

И книга его, согласно этому плану, несколько позже – вышла.

В этот период мы довольно часто виделись с Женей.

Был я для него необходимейшим человеком.

Это и понятно.

Шутка сказать – вторую книгу Рейну «пробил».

Я ходил у него в ангелах.

– Володя! Ангел! – обычно кричал он в телефонную трубку, – приезжай! Вот и мама тебя приглашает! Жду! Приезжай!

Забегая вперёд, скажу: когда Женина книга вышла, – нет, куда раньше, – уже когда получила она так называемую «позицию», то есть был издан, на соответствующий год, очередной издательский план, специально выпускаемый, для того, чтобы книги заранее заказывала широкая сеть книжных магазинов по всей стране, а также прочие торговые точки, и даже просто любители отечественной литературы, граждане бывшего Союза, – отчего, кстати, нежданно вполне мог резко возрасти предполагаемый тираж книги, а с ним, соответственно, и гонорар автора, что, в таких случаях, подобными счастливыми воспринималось как подарок судьбы и, са-

мо собой, предполагало небольшой праздник по такому хорошему поводу, а то и затяжное застолье или, по-русски говоря, долгую пьянку, это уж как у кого, и хорошо, что система заказов на книжные новинки так была отработана, – ангелы из его лексикона сразу исчезли.

А потом он и вовсе стал уклоняться от встреч.

Зачем они?

Дело ведь было сделано.

– Володя, прости, дорогой! – сразу начинал он говорить, если я изредка звонил ему, – не могу увидеться. Спешу. Машина ждёт. В пальто стою.

Навязываться людям – не в моих правилах.

Я и перестал Рейну звонить.

Зачем?

Он – всегда стоит в пальто, его ждёт машина.

Он всегда торопится, всегда занят.

Ему не до встреч.

Но это было – позже.

А сейчас Женя всячески демонстрировал свою расположенность ко мне, своё внимание ко мне.

Вот он и листал мою перепечатку, вот и зачитывал вслух отдельные, нравящиеся ему, куски.

Может быть, и была в этом искренность, допускаю.

Но была и нарочитость.

Я это чувствовал.

Была торопливая какая-то фальшь, иначе не скажешь. Наигранность.

Нет, игра.

(Игра. Наверное – в бисер.

Гессе. А может – Гёте?

Не Гейне ли? Гофман? Гауф?

Словом, сплошное «Г».)

Женя – играл передо мною.

Играл ещё одну свою роль.

Временную.

Не соответствующую его репертуару.

Вынужденную даже.

Но – что делать – приходилось отрабатывать.

При его-то, несмотря на вдохновенные порывы и всякие житейские безумные истории, несомненном и развитом практицизме.

При его-то ревности – вспоминаю, Володя Брагинский рассказывал: как они с Ильёй Смирновым, объединившись, всё поддразнивали находившегося в гостях у Ильи и читавшего там стихи, а потом и выпившего, возбуждённого Рейна, – что вот, мол, конечно, стихи у него нормальные, – но Володя Алейников пишет стихи лучше, и куда лучше, чем он, Женя, – и тогда Рейн, от невозможности возразить что-нибудь на это, разозлившись, бессильно как-то, но и с вызовом, вместе с тем, схватил со стола фужер и с размаху грохнул его об пол, – при его ревности, повторяю, хоть и скры-

ваемой, из тактических и стратегических соображений, но иногда и, поскольку трудно копить её внутри, в себе, таки прорывающейся наружу, – он удосужился вроде более-менее внимательно прочитать мои тексты.

И он, актёр, да ещё какой, читал – передо мною, как перед зрителем, – а вовсе не мне, поэту, – мои стихи.

Я – молчал и мрачнел.

Всяческие предчувствия относительно нашего с Рейном общения уже пробудились во мне.

Предчувствия были верными.

Быть не могло иначе.

От стихов, как бывало всегда, постепенно перешли мы к беседам на житейские, так сказать, приземлённые темы.

Стали оба припоминать былые годы с их суровой школой.

Я, довольно сдержанно, впрочем, поскольку и тяжело это было, и грустно, рассказывал Жене – кое-что, разумеется, так, частицы, крупички, детали, но уж вовсе не всё – о своих, миновавших, по счастью, бездомных скитаниях.

Женя оживившись, припомнил и что-то своё.

И тут же выдал мне серию знаменитых своих баек.

Байки были обильно приправлены юмором, а ещё и, конечно, иронией, а ещё хороши были их интонации, тон, да и всё, что связано именно с голосом, со звучанием голоса, и, конечно же, с мимикой, с жестами, то есть с тем же актерством.

Слово за слово, и коснулись мы прежней, всеобщей, повальной нищеты нашей.

– Даже в худшие годы, – вдруг сказал, со значением, Рейн, – даже в худшие свои годы, – тут он наставительно поднял указательный, палец и выразительно помахал им в накурённом, спёртом, перенасыщенном зыбкими, тягучими слоями сизовато-белёсого табачного дыма и прорывающимися сквозь него, приглушёнными, но такими ориентально-нервическими джазовыми синкопами эллингтоновского «Каравана», пряными, жгучими россыпями то и дело слетающими с чёрного, тускло отсвечивающего диска кружащейся на стереофоническом проигрывателе граммофонной пластинки, – даже в худшие годы, – сызнава, намеренно, подчеркнул он, – я никогда не ходил без стольника в кармане!

Сказав это, Женя, с некоторым, вроде как скрывающим некую тайну относительно безбедного существования, полупризнанием-полувывозом, полудоверчиво-полупобедно, шевеля безнадёжно густыми бровями, в упор посмотрел на меня.

Что ему мог я ответить на это?

В прежние годы, бывало, и захудалого пятака на метро, не то что каких-то там стольников – такое и присниться не могло, – не было у меня.

Вот и ходил преимущественно пешком.

Голодуха сплошная, отсутствие крова, ночлега, стоптанные башмаки – да звёзды над головой.

Хроническое безденежье – к этому не привыкать.

Несмотря ни на что, я работал.

Вопреки всему, я писал.

Перемучишься снова, бывало, – и опять появлялись, меня исцеляя, стихи.

Так и жил столько лет. Но и – выжил.

Я опять промолчал.

На столе перед Рейном лежала недавно изданная «Советским писателем» небольшая книжка его стихов.

Теперь ему позарез нужна была – вторая.

Первая, наконец-то, не по возрасту поздно, а всё-таки вышедшая, – лежала всегда под рукой, была всегда на виду. Рядом с ней – нет, не рядом, а осторонь! – лежала большая самиздатовская моя перепечатка – лишь малая, даже крохотная, часть написанного мною за многие годы, – и ни одна строка из неё издана не была.

Прошло несколько лет.

Книги мои наконец были изданы.

Я подарил их Рейну.

Количество их и объём – впечатляли.

Время от времени Рейн говорил:

– Ты много книг издал!

Я обычно отвечал:

– Ещё больше моих текстов – так и не изданы.

Он шевелил мохнатыми бровями и смотрел за окно.

Может быть, вспоминал он тогда свои собственные слова, сказанные мне на самой заре свободного, бесцензурного книгопечатания, когда разом открылись, казалось, все шлюзы и печататься можно было, как привыкли у нас говорить, без проблем – то есть подразумевалось буквально следующее: что принёс в редакцию, то сразу же, вскорости, и напечатают, без всяких там вторжений в текст и сокращений – без этой советской практики прежних лет, напечатают – в подлинном виде, так, как написано, – и казалось тогда нам всем, что, похоже, уже наступают ежи и не райские, то по крайней мере льготные времена, и они потом наступили, но смотря для кого и когда, но об этом пока ничего мы не знали, – только радовались новизне, и её небывалости, и тому, что, наверное, сбудутся наши надежды на лучшее время, и тому, что, выходит, уже дождались хоть чего-то нормального, и уже есть такая возможность – издаваться везде, где захочешь, широко, свободно, на выбор, где надумаешь, где пожелаешь, потому что везде тебе рады, а стихам твоим – и тем более, так уж рады, что диву даёшься, – так, наивно, подетски, казалось – мне, во всяком случае, – Рейну что мерещилось – я не знаю, ведь чужая душа – потёмки, но тогда говорил он вот что:

– Представляешь, такие возможности вдруг открылись – везде издаваться! Только что же мне издавать? Сколько есть

у меня стихов? Сотни три наберётся, пожалуй. Вот и всё. Что мне делать – не знаю.

Я сказал ему, помню, тогда:

– Сотни три – это тоже ведь много. И тем более, если стихи все хорошие. Для поэта, сам ты знаешь, это неважно – сколько он написал вещей. Были б сильными эти вещи, долговечными, – вот что важно. Было б слово живо его. Остальное – так, приложенье, – не к чему-нибудь, а к труду. Не печалься. Всё у тебя впереди. Всё сбудется вскоре. Уж во всяком случае, знаю, – у тебя. И куда скорее и удачней, чем у меня.

Посочувствовал я ему. Успокоил его. Утешил.

И тогда же – отчётливо понял: мне с моими стихами, которых написал я несколько тысяч, ждать хорошей поры для себя – много дольше придётся. Но сколько же? И дождусь ли? И что же дальше?

«Дальше – время твоё настанет!» – ясный голос мне вдруг сказал.

Я – услышал его.

И – понял.

И поэтому – промолчал.

О себе – ничего не сказал.

Наперёд говорить – не стану.

И тем более – Рейну, с его размышлениями: что же ему издавать, если текстов – немного?

Ничего. Что-нибудь да напишет. И ещё, и ещё, и ещё.

Я же – как-нибудь сам разберусь: и с собою самим, повсю-

ду и везде бывшим белой вороной, инородным телом, случайным гостем – там, на всеобщем пиру, и ушедшем оттуда вдруг, чтобы в глушь отойти и в тишь, чтобы там, в стороне от всех, где покой и воля, – работать, продлевая дыханье речи, продолжая духовный путь, – и тем более разберусь, без подсказчиков, без суеты, сам, как есть, со своими стихами, – дай им Бог и впредь появляться и хранить в себе свет живой.

В чём же вся, если вдуматься, разница – между мною и Рейном?

У меня – ведическое мироощущение.

В нём время и пространство, да и все измерения, – заодно, в единстве, в гармонии.

И стараюсь я выразить – единство сущего.

И весь мир мой, земля моя, почва, на которой живу я и с которой никуда никогда я не уходил – мне дом.

Рейн – питерский парижанин и сплошной горожанин.

Он – данник и пленник своего, земного, ему отпущенного, времени, выразитель – только его, изобразитель – сугубо земных, повседневных, людских забот и страстей.

Рейн – агитатор «за искусство» и комментатор искусств. И тем более – литературы. Но, конечно же, хочется – большего. Потому-то, наверное, в совершенно случайно увиденном мною фрагменте снятого неким зарубежным гастролёром видеофильма он, потрясая вздымаемыми ввысь руками, патетически восклицал: «Я лучше всех в России разбираюсь в сти-

хах!...» Что ж, совсем хорошо, если вправду – вот так. Только время – его, человечье, – его же спасательный круг. На воде, на широкой воде мирового пространства. Надо крепко держаться за круг. Если вдруг ненароком упустит его – что же будет потом – с ним, таким городским, и бравурным, и вальяжным, и полубезумным – но, однако же, трезвым, разумным, несмотря на повадки свои и сумбурную некогда жизнь? Надо крепче держаться за круг – то ли города, то ли иного, гуще, круче, людского скопления. Там – спасенье, и там – впечатленья, поощренья, даренья, всё – там. Одного лишь там нету – горенья. И того, что за этим: прозренья. Есть – людской толчеи пузыренья, за которым, как призрак, – старенья. И – с собою, давнишним, – боренья, коль захочется фарсов и драм. Но возносятся – благодаренья, за судьбу, – к городским небесам. Потому что дано и паренья, приобщенье – к иным голосам.

К Жене я всегда относился и отношусь, несмотря ни на что, с неизменной симпатией. Нравится мне человек этот – и всё тут. К тому же, он ещё и по-настоящему талантлив. Уж поталантливее Бродского. Так я – давно – считаю. И Женя об этом – знает. Мне всегда с ним интересно. И наши встречи, наши беседы, в последние годы, к сожалению, редкие – остаются надолго в памяти. Колоритный человек. Сложный. Несомненно, обладающий врождённым магнетизмом. И – обаянием. И – чутьём на стихи. А ещё, несмотря на свой

возраст, сохранил он в себе замечательную детскость, изумление перед миром, – и я это вижу, и понимаю, и это для меня – очень важно в человеке. Так что можно на него поворчать, да и только. А обижаться на него – зачем? Он такой, какой есть. Он – Рейн. Всем известный современный поэт. Однофамилец знаменитого голландского художника – Рембрандта ван Рейна. Собеседник мой – в былые времена.

Однажды Женя говорит мне:

– Я считаю, что СМОГ – просто некий довесок к тебе. Ты всегда был сам по себе. Всегда был независим, оригинален и самостоятелен во всём. Тем более – в поэзии.

– Мне и самому всё это давно надоело! – отвечаю я ему – Нынче так и норовят всех сбить в группы, в стаи. Так им, тем, кто пытаются разобраться в том, что мы делали, удобнее. Тебе это хорошо известно.

– Да, у меня такая же история с Бродским, – сказал Рейн. Потом помедлил – и порывисто произнёс:

– Я всегда хотел дружить с тобой!

И подчеркнул патетически:

– Я считаю тебя великим человеком, великим другом и великим поэтом!

– Ты мне тоже дорог, Женя! – ответил я ему. – Давай, в наших-то зрелых летах, попробуем – дружить.

– Уезжаю в Париж! – сообщил мне Рейн. – Вместе с Надей.

– А я – к себе, в Коктебель! – ответил я. – Вместе с Людой.

На том разговор наш и закончился.

И снова – долго не виделись.

Такое вот у нас, у поэтов, годами собирающихся дружить, – своеобразное общение.

Дружба дружбой, а дороги – врозь.

Кому – на Запад, кому – в Киммерию.

Может быть, и встретимся ещё – у меня, в Коктебеле.

Всё может быть.

У нас – всё может быть.

– Зачем тебе волноваться? Ты великий поэт! – сказал мне Андрей Битов, когда я спросил его, как там обстоят дела с моим приёмом в ПЕН-клуб.

Дело было уже в девяносто четвёртом году.

– Вон сколько книг у тебя вышло! – сказал Андрей – все это знают. Все знают, кто ты такой. Так что не волнуйся. Примем.

И приняли.

– Поздравляю! – сказал мне Битов по телефону, – приняли единогласно. К Окуджаве, поскольку он болел, ездили специально на дачу. Все проголосовали – «за». На обсуждении вслух читали стихи твои. Наизусть помним. Так что всё в порядке.

Позвонил Женя Попов.

– Поздравляю, Володя! Мы тебя приняли.

Я сказал Людмиле:

– Приняли меня.

– Ну и ладно! – сказала мудрая и проницательная моя жена, – только что это даст тебе? Вряд ли будет от этого прок. Получил я членский билет – и уехал к себе в Коктебель.

Приехал в Коктебель Битов.

Конечно – летом.

Конечно – отдохнуть.

Конечно – с семьёй.

Конечно – вместе с Сашей Ткаченко и его семьёй.

ПЕН-клубовское начальство к нам пожаловало! – так в посёлке у нас говорили.

Зашёл Андрей ко мне в гости.

Навестил старого друга.

Пригласил меня в Дом Волошина – на презентацию недавно вышедшего очередного «Крымского альбома», в котором стихов моих, разумеется, не было – хотя стихов о Крыме у меня больше, чем у всех русских поэтов, вместе взятых.

Я – пришёл.

В кои-то веки – выбрался на люди.

На веранде волошинского дома собрался народ.

Издатель Дима Лосев, человек феодосийский, молодой, энергичный, представил вышедшую книгу.

Потом все присутствующие выпивали, закусывали и разговаривали о разном.

Так, наверное, полагается на презентациях.

Я, непьющий, сидел в стороне и курил.

Напротив меня, в тесноте, да не в обиде, рядышком, сидели такие разнородные люди, как широко известный в России и далеко за её пределами, популярный, модный прозаик, пишущий и даже издающий ещё и стихи свои, лауреат всевозможных премий, литературных и государственных, неизменный участник различных жюри, раздающий престижные премии, постоянный гость на телевидении, полномочный представитель отечественной литературы в зарубежных, спокойных, зажиточных, с торжеством демократии, странах, претендент на титул «Мистер Совершенство-97» от Марии Арбатовой, писатель номер один нашей страны, ум, честь и совесть – по мнению журнала «Она», педагог, воспитатель прозаиков в Литературном, основанном Горьким, на бульваре Тверском находящемся институте, законодатель вкусов, мнений и мод – в области литературы, человек, способный влиять на судьбы людские в смутном, всё-таки, мире интриг, и тусовок, и отъявленной групповщины, личных дружб, отношений хороших, выдвигений куда-то, поездок и всяческих благ, именуемом, как ни странно, по старинке, литературой, да ещё и российской, русской, современник, приятель мой давний, который давно уже – многое может, и особенно – в девяностых, по его же словам, – если только захочет, конечно, – так заметим, и – справедливо, – человек, по словам Жени Рейна, небывалый, который – всё может, автор целого ряда книг, всюду изданных и переизданных, многодетный

отец, седой и вальяжный, раньше – в очках, а теперь – без очков, то бритый, то с усами, а то – с бородой, белой, колкой, короткой, модной, – всё зависит от настроенья – как ходить: можно – стричься наголо, можно – волосы отрастить, всё равно есть титулы, звания и, что важно, к нему внимание, всеми признанный нынче лидер и всеобщий любимец, баловень благосклонной к нему судьбы, председатель ПЕН-клуба, гордость демократов, Андрей Битов; бывший эмигрант, основатель издательства «Третья волна» и альманаха «Стрелец», коллекционер и пропагандист современного авангардного искусства, создатель музеев в изгнании, автор книг стихов и мемуаров, недавний, по словам Сергея Довлатова, борец с тоталитаризмом, из-за этой борьбы никому в эмиграции не отдававший долгов, нынче – вроде, устроенный в жизни и давно живущий в Москве, где – всё то же, такая же деятельность, как и прежде, – издание книг, то и дело – устройство выставок, собирательство, целенаправленно, современной российской живописи, и не только российской, а всякой, где придётся и как придётся, благо – много её везде, человек бледнолицый, цепкий, невысокий и всем известный, с сигаретою вечной «Данхилл», взгляд – сквозь дым, – Александр Глезер; и – доселе мне незнакомый, патриот, русофил, из главных в этом стане, издатель, вроде, приложения литературного – и к чему же? – к газете «День», чьё название вдруг изменилось, если я не спутал чего-то, став туманно-значительным – «Завтра», человек дородный и крупный, рыхло-

ватый немного, спокойный, но, однако же, с напряжением – там, внутри, скрываемым тщетно, с осторожно приподнятым кверху, как фонарь в полумраке, лицом, славянин и, кажется, критик, со вспотевшим широким лбом и расправленными свободно под рубашкой чистыми плечами, шумно дышащий Владимир Бондаренко.

Все трое с удовольствием выпивали – и, несмотря на то, что считались представителями противоположных лагерей, друг с другом и не думали ссориться.

Напротив, было им всем здесь, вместе, на волошинской миролюбивой веранде, у моря, летом, тёплым вечерком, уютно, покойно и хорошо.

Андрей Битов сказал, обращаясь одновременно и ко всем гостям, оптом, и к Диме Лосеву, в частности:

– Здесь, у вас, в Коктебеле, живёт Владимир Алейников, великий русский поэт. Почему его стихи не публикуются в таких изданиях, как «Крымский альбом»?

Присутствующие, особенно сотрудники волошинского музея, никак не отреагировали на это.

Они давно ко мне привыкли.

Живу я здесь – и ладно, и хорошо.

Работаю всё время – об этом они прекрасно знают. Знают, что я только и делаю, что работаю.

А что пишу – обычно не спрашивают.

Прекрасно им известно и то, что выступать с чтением своих стихов – ни у них, ни в других местах, – я не люблю. Су-

ществую я здесь – вроде, и рядом, близко, но в то же время и осторонь от всех и всего, в первую очередь от суеты, – и всё тут.

У них – своя жизнь, у меня – своя жизнь.

Всем известно: есть Коктебель, и в нём – Алейников, там, у себя в доме, приходит сюда – редко, всё работает и работает, и тянется так – годами.

Издатель Дима Лосев и бровью не повёл.

Словно ничего такого и не слышал.

Я сказал:

– Ну зачем ты так, Андрей?

– А что? Я правду сказал. Так ведь всё и есть! – опять-таки обращаясь одновременно ко всем, стоял на своём Битов.

С набережной во двор волошинского дома врвался грохот музыки из бесчисленных кафе и забегаловок.

На веранде было относительно тихо и спокойно.

Вроде бы продолжалась волошинская традиция общения.

На самом деле – все сидели и выпивали.

Факт культуры сменился обычным застольем.

Ничего не поделаешь.

Это – факт как бы времени.

Лето, отдых и повод вполне подходящий, – для выпивки.

Незаметно я встал и ушёл.

– Ну как презентация? – спросила меня Людмила.

Я рассказал.

– Сиди дома и работай! – сказала моя мудрая жена.

...И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную красоту некоторых, земных, но определённых, полагаю, небесами, дружб – и суждено было услышать от некоторых, чрезвычайно дорогих для меня людей, важнейшие для меня слова о том, как воспринимают они написанное мною, – я несказанно благодарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими дарами.

Лучше всех, пожалуй, и, как это всегда у неё получалось, кратко и точно, в форме своеобразного изречения, определила суть моих стихов незабвенная Мария Николаевна Изергина:

– Стихи Владимира Алейникова я очень люблю и для меня они лучшее, что сейчас пишется. Что меня больше всего привлекает в его стихах, это – свет.

Сформулировано ею это было в восьмидесятых, многоразды высказано прилюдно, при большом, как тогда ещё довольно часто бывало, скоплении народа, в её коктейбельском доме, на знаменитой веранде, передававшей всё и всех, потом – записано.

Однако о том, что она постоянно ощущает исходящий из моих стихов свет, стала говорить она ещё со времени нашего знакомства, вскоре переросшего в долголетнюю прочную дружбу, то есть ещё со знаменательного для меня лета шестидесят пятого.

Особенный этот свет, который она так верно ощущала всем своим существом, помогал ей жить – так она говорила.

А прожила она девяносто три с половиной года, и вдобавок было в её жизни и сложностей, и трагедий.

Поразительно стойкий человек!

А какое чутьё – на слово, на звучание его, на каждую новую краску, на тон, на ритм, на дыхание, на тот синтез, который так определяет вообще всё и столь важен в искусстве, на интонации, на все те откровения и открытия, которых она так всегда ждала от речи!

Я знаю, что понять мои стихи помогло ей – отчасти, конечно, и всё-таки, это важно, то, что она прекрасно знала музыку, сама была очень хорошей певицей и музыкантшей.

Но и не только это. Помогало и другое.

Важна была, так сказать, закваска. Воспитание. Образование. Реакция на хорошее и плохое. Мгновенная отзывчивость на подлинное искусство.

А ещё важна была – её неудержимая тяга к свету, сквозь все невзгоды собственной, сложной, рано изуродованной революцией, гражданской войной, сталинщиной и минувшим режимом, но всё равно, несмотря на пережитые драмы и трагедии, чистой, возвышенной, насыщенной событиями, полноценной, плодотворной, в прямом смысле этого слова – творческой, прекрасной жизни.

Мария Николаевна, сколько её помню, никогда никому ни на что не жаловалась, всеми силами стремилась никогда ни-

кому не быть в тягость, никогда никого не поучала, не учила жить.

Она сама была дивным примером жизнелюбия и жизнотворчества, она всегда шла по своему собственному, когда-то избранному ею, пути, и это был – именно Путь.

Она была человеком волошинского круга.

В коктейбельском мире она была – Мусей, так звал её Волошин, и волошинские акварели, именно с таким обращением к ней в дарственных надписях, висели на стенах в её доме, – тогда как её старинная подруга, вдова Волошина, Мария Степановна, была – Марусей.

Были у Марии Николаевны и ещё две давних подруги – Надежда Януарьевна Рыкова, поэтесса и переводчица, и Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.

Постоянно окружали её и другие, довольно многие, достаточно близкие ей люди.

Она дружила с Григорием Николаевичем Петниковым, жившим в Старом Крыму и наведывавшимся в Коктебель, настоящим и тонким, с ведическим мироощущением, почему-то недооцененным, как это у нас в стране сплошь и рядом бывает, поэтом, другом Хлебникова, человеком образованным, деликатным, ясным, особенным и для меня самого человеком, о котором я обязательно ещё скажу.

Мы, коктебельцы, когда-то – сами ещё молодые, в прежние годы ходили, бывало, в Старый Крым пешком.

Это был один из своеобразных коктебельских ритуалов. Полагалось тогда – будучи в Коктебеле, хотя бы разок сходить в Старый Крым.

Надо сказать, пешие эти прогулки – многого стоили. И все они – в памяти.

Мы собирались небольшой группой – и отправлялись в путь, по горам, среди киммерийской природы.

И Мария Николаевна всегда передавала привет Петникову.

И я заходил к Григорию Николаевичу – и обязательно передавал ему этот привет.

И Петников – мгновенно, прямо на глазах, – весь расцветал. Действительно, расцветал. Глаза его начинали вдруг лучиться, лицо преображалось, черты лица становились мягче.

Он оживал, молодел. Голос его теплел, в нём проскальзывали нотки волнения.

Он улыбался по-юношески, даже по-детски, наивно, смущённо, радостно, искренне, распахнуто как-то, светло.

Он ликовал – так мне казалось.

Он, старокрымский затворник, явно дорожил этими приветам.

Он дорожил дружбой с Марией Николаевной. Более того: он гордился этой дружбой.

Сама же Мария Николаевна говорила о Петникове с неиз-

менным пиететом, всегда выделяя его из числа остальных своих знакомых – тех, из старшего поколения.

Говорила она о Петникове – всегда с особым теплом, и даже с любовью, – ну конечно, с нею – дружеской, человеческой любовью.

Всё, как обычно это бывало у неё, сводилось к сжатой, чёткой формуле:

– Григорий Николаевич – настоящий поэт. Образованный человек. Талантливый. Воспитан. Учтив с дамами. Внимателен. Мы с ним очень дружим. Давно дружим.

Порой вспоминала слова Петникова:

– Писать – легко. Вычёркивать трудно!

Я замечал, что, говоря о Петникове, Мария Николаевна и сама всегда преображалась.

И она вдруг хорошела, молодедела, словно озарялась вспыхнувшим негаданно ясным светом.

В голосе её звучали не просто тёплые интонации, но – мелодия, мелодия нежности.

А глаза – многое говорили они без слов, эти её выразительнейшие, сияющие глаза.

Возможно, это была не просто дружба двух людей старшего поколения, а более глубокая, более крепкая, более важная связь двух душ, двух сердец.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они

с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку – не просто колкими, острыми, а скорее жалящими придирадками, всяческими вопросами, довольно жёсткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства, – причём объединённому и целенаправленному напору их сам Брюсов, как это ни удивительно, при его-то всегдашней готовности к полемике, и противопоставить-то ничего толком не мог, – а только, слушая их, терялся, тушевался, раздражался и в итоге пасовал, сдавался.

Молодое поколение, в лице двух юных дам, обезоруживало его и побеждало.

Хотя и сам ведь Брюсов был далеко ещё не старик. Ну сколько ему было тогда – лет пятьдесят? А вот выдохся, видно, в прежних дебатах и боях. Состарился преждевременно. Внутренне. Душевно. И пороха, нужного для полемики запала – уже не хватало у него.

Может быть, он действительно был уже дряхлым, опустошённым, уставшим от всего и всех человеком.

Стоит вспомнить здесь его попытки приспособиться, подладиться к советской власти. Стоит вспомнить чрезмерно бурную его деятельность на культурном фронте, о которой так хорошо написал Ходасевич, а ещё лучше – Марина Цветаева.

Ну и, конечно, пристрастие Брюсова к наркотикам, к морфию, – сказалось на общем состоянии его организма.

Вскоре после поездки в Коктебель, Брюсов умер.

Мария Николаевна, вспоминая молодые свои, на пару с Рыковой, перепалки с ним, подзуживания, выпады, розыгрыши, даже сожалела, бывало, – уж не послужили ли их коктебельские атаки на служащего советской власти вождя символистов хотя бы одной из причин, хотя бы косвенной причиной смерти его, неожиданной для всех?

Нет, конечно, – успокаивала она сама себя. Причина была в другом. В том, что Брюсов был уже весь разрушен – и физически, и духовно – разрушен. Что поделаешь? Как ведёт себя человек в жизни – очень важно. Это прямым образом сказывается и на творчестве его, если это человек творческий, и на судьбе.

Острый же язычок Марии Николаевны проявлялся порою и жалил кого полагается – и в последующие годы.

Некоторые выпады её, тирады и характеристики различных, попавшихся к ней на язык, как говорится, персонажей – бывали блестящими, собранно-меткими, били в точку, несколькими характерными, обдуманными штрихами давали такой портрет конкретного человека, что это надолго запоминалось.

Никогда Мария Николаевна этим не злоупотребляла. Но было это – оружие. И все её знакомые прекрасно об этом знали.

Помню Анастасию Ивановну Цветаеву – худенькую, све-

тящуюся грустным и ясным светом памяти своей и судьбы, с развевающимися на коктебельском ветерке белыми волосами, – и эти прикосновения приморского ветерка, бриза, – молодили её, и в лице её, худом, живом, словно пульсирующем от избытка силой воли сдерживаемых чувств и эмоций – угадывались порою и черты лица старшей её сестры.

Помню лежащие грудами в комнате Марии Николаевны, и на рояле, и вокруг него, письма и открытки Анастасии Ивановны, её дарственные надписи на журнальных публикациях и книгах, – довольно крупный, неровный, корявый, валкий, но – упорный, весь в движении, устремлённый вперёд, несгибаемый почерк.

Переписку они поддерживали довольно интенсивно. Она была продолжением их бесед, с годами – всё более редких, но это и понятно – почему так получалось.

В письмах Анастасии Ивановны были – рассказы о своём житье-бытье, просьбы, рекомендации для собиравшихся приехать к Марии Николаевне знакомых, сообщения о своих литературных делах, о том, чем занята, что она пишет, а главным был тон, из которого следовало, что жизнь – замечательная штука, и надо в этой жизни и по-настоящему дружить, и много работать.

Некоторые кусочки из цветаевских писем, под настроение, Мария Николаевна, случалось, зачитывала мне вслух.

В голосе её звучала тогда – любовь.

Она любила Цветаевых, обеих. Любила вообще всё, что

связано было с обеими сестрами. Любила поэзию Марины Цветаевой. Иногда, редко, после чтения цветаевских стихов, ворчала:

– Кликуша!

Ворчала – любя.

И тут же всё ставила на свои места:

– Но какой поэт!..

Она любила и Ахматову. Очень любила. И – в разговорах со мною – иногда вроде бы и отдавала ей предпочтение. Но именно – вроде бы.

Любила она стихи обеих – и Цветаевой, и Ахматовой.

С Ахматовой была она знакома. В комнате Марии Николаевны всегда висела её фотография.

Между прочим, рассказывала мне Мария Николаевна, что приходилось ей стоять, в тридцатых годах, в Ленинграде, вместе с Анной Андреевной, – в очередях, тех самых, тюремных, из ахматовского «Реквиема» – помните? —

«Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской весёлой грешнице, что случится с жизнью твоей, – как трехсотая, с передачей, под Крестами будешь стоять и своею слезой горячею новогодний лёд прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука – а сколько там неповинных жизней кончается...»

Это там, именно в этих очередях, – было то, о чём Ахматова пишет в предисловии к «Реквиему»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шёпотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом».

И с Павлом Николаевичем Лукницким, человеком, создавшим летопись жизни и творчества Николая Гумилёва, а потом собиравшем и систематизировавшем материалы о жизни и творчестве Анны Ахматовой, в молодости дружила Мария Николаевна.

Помню старую фотографию: вместе с широко улыбающимся красавцем, Павлом Лукницким, плывут в лодочке две красавицы-сестры Изергины.

Мария Николаевна иногда Лукницкого вспоминала.

Говорила о нём:

– Прекрасный человек. Из культурной семьи. Дворянин.

Или, с явным, гордым одобрением в голосе:

– В Александровском корпусе учился. В Пажеском корпусе учился. Красив был – невообразимо!..

И, словно резюмируя:

– Молодец! Много для русской культуры сделал!..

Её общение с людьми было вообще очень широким.

В этом, с годами всё расширяющемся, означенном светом высокой духовности круге находились и прекрасно уживались представители сразу нескольких поколений, от стариков до зелёной молодёжи.

Помню на веранде у Марии Николаевны скульптора Анатолия Ивановича Григорьева – скульптора очень серьёзного, очень крупного, – и, как это ни досадно, всё ещё должным образом не оценённого, хотя многообразное и сложное творчество его давно говорит само за себя.

Надо – смотреть и видеть. Но ещё и – увидеть. И понять. Искусство – может подождать, конечно. Может – ждать. Годы. Десятилетиями. И даже веками.

Если оно настоящее, то – увидят, наконец. И поймут, даст Бог. Так и будет – потом, в грядущем.

Но – насколько же лучше стали бы люди, если бы они многое увидели и поняли – вовремя!

Григорьев довольно долго пробыл в сталинских лагерях.

Огромное количество его работ – погибло.

Его пасынок, Юра Арендт, рассказывал мне, что одиннадцать грузовиков работ григорьевских были в своё время вывезены из мастерской его и оставлены где-то на хранение, да там и сгнули.

Григорьев был женат на Ариадне Александровна Арендт, представительнице знаменитой династии врачей, когда-то – выходцев из Швеции, давно обрусевших, – и один из Арендтов лечил Пушкина.

Ариадна Александровна сама была великолепным скульптором.

А ещё она была – старинной, близкой подругой Марии Николаевны Изергиной.

Григорьев и Арендт построили себе дом в Коктебеле, дом с двумя небольшими мастерскими. Они жили здесь подолгу – и оба много работали.

В период СМОГа, весной шестьдесят пятого года, скульптор Геннадий Бессарабский познакомил меня с Григорьевым.

Анатолий Иванович звал меня к себе в Коктебель:

– Приезжайте, Володя! Будете жить у нас.

Я был изгнан из московского университета. Многие мне сочувствовали. Известность моя в Москве была тогда велика.

Григорьеву очень нравились мои стихи. Он слушал, как я их читал, в мастерской Гены Бессарабского, при свечах, где Гена сидел в своём инвалидном кресле чуть в стороне от всех, а за длинным деревянным столом сидели Генина жена, Маша, поразительной доброты и внутреннего света женщина, и Григорьев, живо реагирующий на каждое слово стихов, небольшой, но такой уж ладный, что хотелось сказать

– крепенький, в очках, поблёскивающих отсветами мерцающих свечей, с несколько всклокоченной бородкой, и слушал стихи, и всплёскивал руками, и всё звал меня к себе:

– Приезжайте к нам! У нас вам будет хорошо, Володя!..

Но я уехал тогда на Тамань, в археологическую экспедицию. Меня вела – судьба.

Беспокоить своим присутствием в доме двух пожилых людей – Анатолия Ивановича и Ариадну Александровну – я стеснялся.

В Коктебеле – заходил к ним, Тогда, когда удавалось вырваться из экспедиции, ненадолго, – в Крым, в том же шестьдесят пятом. Да и позже навещал двух этих замечательных скульпторов.

Так получилось, что с Григорьевым был я знаком даже немного раньше, чем с Марией Николаевной Изергиной. Но – всё в том же, столь значимом для меня, шестьдесят пятом году.

Вспоминаю Ариадну Александровну Арендт, сидящую в инвалидном кресле, в своём коктебельском доме, тихую, светлую, поднимающую к людям, к солнцу своё открытое миру и свету, судьбе и творчеству, прекрасное, исполненное благородства и внимания, чистое лицо, её чуткий, полный участия ко всему происходящему в доме и бесконечного терпения, очень ясный, всё запоминающий взгляд, выражение глаз её – горестное и радостное, её седые, убранные назад, волосы, её крепкие, крупные, сильные руки – рабочие руки,

руки мастера, её прямой, как у Гёте, нос, её густые брови и высокий, чуть загорелый лоб, вспоминаю исходящую от неё, от всей её фигуры, от этой породистой головы, от этих творческих рук, этих творческих глаз, силу, силу воли, силу духа, силу верности избранному Пути, – и снова, как и больше тридцати лет назад, восхищаюсь красотой её, да и красотой всех этих коктебельских людей – и мужа Ариадны Александровны, Анатолия Ивановича Григорьева, тоже красивого ведь человека, и подруги Арендтов – Марии Николаевны Изергиной, и Надежды Януарьевны Рыковой, и Анастасии Ивановны Цветаевой, и Марии Степановны Волошиной, – красотой – людей волошинского круга, красотой – словно сотворённой и благословлённой самим Волошиным.

Григорьев захаживал к Марии Николаевне на веранду. Они были почти ровесниками. Анатолий Иванович был на год старше. Он мог ходить – потому и приходил порой сюда, один.

А вот Ариадну Александровну надо было – навещать. Что и делала Мария Николаевна с большой охотой, навещая свою подругу Алю на протяжении долгих лет.

Дружба Арендтов – так все называли эту супружескую пару – с Марией Николаевной – целая эпопея. Или, скорее, летопись. Во всяком случае – это одна из важных страниц в истории русской культуры.

И чрезвычайно важно было бы, если бы сын Ариадны Александровны, Юрий Арендт, сам обо всём этом рассказал.

В моём коктейбельском доме есть каталог произведений Ариадны Александровны, каталог её выставки.

На титульном листе – надпись:

«Дорогому Владимиру Алейникову, одарённейшему поэту, сердечно, А. Арендт, Ю. Арендт. 23. IX. 1991».

Две подписи. Григорьева тогда уже не было в живых.

Ариадна Александровна написала воспоминания о некоторых близких ей людях, начиная с Волошина.

Пора и Юре писать свои воспоминания. Ей-Богу, пора!..

По складу ума своего была Мария Николаевна Изергина независимой в суждениях, сдержанной в выражении собственных чувств, но была и удивительно внимательной к окружающим её людям, даже порой готовой к самопожертвованию, способной на всё одним махом решающие поступки.

Нередко она первой делала шаг навстречу новому для неё человеку, угадав в нём то, что считала подлинным.

Так, в годы моей молодости, навсегда связанной с Коктебелем, было и со мной.

Наша встреча оказалась для обоих – знаковой.

Очень многому я у неё научился. Просто очень многому. Перечислять, чему именно, я не стану. Это – в памяти, в сердце, в душе. Поверьте на слово.

Очень многое, с огромным тактом, ненавязчиво, но и целенаправленно, зная, что будет это мне только на пользу, да-

ла она мне.

По натуре была она, конечно, мистиком – не занудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была – сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить-то не с кем.

Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом её – храмом Яви. Потому что её Явь, её настоящее – оказывались вне категорий, изобиловали жизнетворной энергией бытия.

Была она отменно образована. Всегда приятно это подчеркнуть. Читала и говорила на нескольких языках.

В семье у них все были образованными людьми.

Семья жила в Симферополе, в собственном доме. Имелось и загородное поместье.

Отец Марии Николаевны родом был из Тверской губернии, занимал какую-то важную должность в Крыму.

Вспоминая своего отца, Мария Николаевна непременно подчёркивала, как он, позаимствовав понравившееся ему изречение у кого-то из древних, любил приговаривать:

– Тем, где я, – нет провинции!

Этим лишний раз давал он понять окружающим, что умный и способный человек, живя в любом месте российской державы, всегда найдёт применение своим способностям и

силам – на пользу отечеству, разумеется.

Отец состоял на государственной службе и с обязанностями своими, судя по всему, справлялся прекрасно.

Да и в общественной жизни Крыма, и в культурной жизни процветавшего до революции полуострова был он фигурой заметной.

А мать Марии Николаевны, красавица-англичанка, занималась воспитанием детей – двоих дочерей.

Надо сказать, это ей удалось.

Обе сестры Изергины были начитаны, образованы, музыкальны, с малых лет владели иностранными языками, обе тяготели к искусству, – будучи при этом обе хороши собою, прелестны, обаятельны, талантливы и умны.

Младшая сестра Марии Николаевны в дальнейшем была известным искусствоведом, долго работала в Эрмитаже.

Мария Николаевна была известной певицей. Голос у неё был просто чудесным – настоящее сопрано. Кроме того, была она и прекрасной пианисткой, аккомпаниатором.

Она работала в театре, позднее – преподавателем музыки и пения в разных музыкальных учебных заведениях.

До войны – училась и работала. Во время войны – постоянно бывала с концертами на фронте. После войны – опять работала.

Году в пятьдесят седьмом она окончательно поселилась в Коктебеле. Построила себе дом.

Главнейшим же даром Марии Николаевны – был дар общения с людьми. Он заключал в себе поистине уникальный синтез – всех искусств, человеческих способностей, дарований, качеств и достоинств, ума, такта, обаяния, понимания людей – и ещё столько, всякого, самого разного, соединённого воедино, параллельного и сопутствующего, врождённого и приобретённого в результате жизненного опыта, что лучше вовремя прекратить – хотя бы пока что, на некоторое время, – уже назревающий перечень многих выдающихся достоинств этой женщины.

Итак, семья Изергиных жила в Симферополе.

О том, что значила для этой благополучной, счастливой семьи смена власти в стране и сколько бед всем им пришлось претерпеть, я распространяться не стану.

Вспомню лучше рассказанный мне однажды Марией Николаевной эпизод из времён гражданской войны.

Мать Марии Николаевны была женщиной с очень развитым чувством собственного достоинства, с ясным умом и твёрдым характером. В любой жизненной ситуации она оставалась верна своим принципам и не теряла присутствия духа.

Случилось так, что в симферопольский дом к Изергиным нагрянул, неожиданно для всех, отряд красноармейцев с жёстким предписанием; реквизировать имущество у бур-

жув.

Красноармейцы вели себя вызывающе. Всем видом своим они словно показывали: ну вот сейчас вы своё получите!

Особенно преуспел в этом командир отряда, молодой парень, вполне заурядного, простецкого вида.

Он прямо-таки пылал ненавистью к буржуям и эксплуататорам трудового народа, просто изнывал от нетерпения – немедленно начать отбирать всё подряд. Он так горел этим желанием – реквизировать все имущество в ненавистном ему доме, у неизвестных ему, но тоже ненавистных, каких-то там Изергиных, что, казалось, вот-вот вспыхнет, как сухой хворост или как спичка. Он то бледнел, то багровел – то ли от повышенного осознания им своего революционного долга, то ли от ярости и гнева.

Он желал – отобрать всё, до последней ниточки. Для дела революции, понятно. Не для себя же. Он был революционный идеалист. Встречались тогда и такие, и в немалом числе.

Он был грозен в своём порыве. Его уже несло. Он кричал. Он надвигался на Изергиных, крича и ругаясь. Он не владел собой. Ему надо было – действовать!

Сёстры Изергины под натиском ворвавшихся в их дом чудовищ растерянно жались к роялю. От отчаяния они готовы были зарыдать. Но они сдерживали себя. Они были – Изергины. Нельзя было показывать революционной солдатне свою слабость.

Их мать, красивая, статная, неподвижно стояла посреди

комнаты.

Командир отряда вплотную придвинулся к ней и торжественно сказал:

– Ну, всё. Начинаем! Вон сколько здесь добра!

Мать Марии Николаевны спокойно сказала ему:

– У меня есть охранная грамота!

Тот запнулся, насторожился:

– Где? Как? Почему это? А ну, покажите!

Мать, ни на секунду не теряя самообладания, держась, по возможности, уверенно, независимо, а по привычке – прямо, с достоинством, подошла к секретеру, выдвинула неторопливо ящик, вынула оттуда первую попавшуюся бумажку, какую-то старую квитанцию, – и протянула ее командиру:

– Вот, пожалуйста! Читайте!

Тот схватил протянутую ему бумажку и впился в неё глазами.

И вдруг он покраснел, как-то замялся, стушевался, сник.

Что вело эту смелую женщину? Что заставило её так рисковать? Каким чутьём поняла она, что командир красноармейцев – неграмотен? Трудно сказать. Думаю, было это наитие. Даже озарение.

А теперь она твёрдо знала: этот простецкий с виду, молодой парень – совершенно точно не умеет читать!

Командир отряда поводит по бумажке глазами, повертел её в руках, нарочито придиричиво присмотрелся к имевшейся на бумажке печати, пошевелил зачем-то губами, будто ещё

раз внимательно читая текст, – да и протянул эту заваливающуюся в ящике секретера старую квитанцию молча стоящей перед ним прямой и стройной даме:

– Всё в порядке! Охранная грамота на имущество имеется. Извиняйте за беспокойство.

Мать Марии Николаевны невозмутимо взяла бумажку и положила её обратно в секретер. Задвинув поплотнее ящик, она повернулась к командиру красноармейцев и внимательно, с укором, посмотрела на него.

Тот окончательно смутился. Надо было срочно выпутываться из создавшегося неловкого положения.

– Хлопцы! – стараясь придать своему срывающемуся голосу должную уверенность, обратился он к ожидающему его команды отряду, – ошибочка вышла. Айда отсюда!

И отряд, гроыхая по полу сапогами и прикладами винтовок, удалился из дома.

Громко хлопнула за ними входная дверь – и всё затихло. Сёстры Изергины потрясённо смотрели на мать.

Мать – смотрела на дочерей.

Потом она снова достала спасшую их случайную квитанцию.

Все вместе, втроем, они стояли и смотрели на эту бумажку. Это была – немая сцена, прямо как в спектакле.

Некоторое время длилось общее их молчание.

И только потом все трое дружно расхохотались.

Смех смехом, а дом был спасён.

Пока что спасён. А потом...

Ещё эпизод, из той же эпохи.

Юная Мария Николаевна ехала в поезде.

Зачем-то понадобилось ехать.

Ехала она всего-то – от Симферополя до Бахчисарая. Но – в битком набитом людьми вагоне, и даже не в вагоне, а в тамбуре. Ехала она целый день.

И в этом тамбуре так плотно стояли пассажиры, со своими мешками и вещами, что, попытавшись хоть немножко продвинуться вперёд и подняв ногу, Мария Николаевна уже не сумела поставить её обратно на пол: места не было.

Так и простояла она, целый день, до самого Бахчисарая, на одной ноге.

Когда-то, очень давно, в юности или даже в отрочестве, Марии Николаевне гадала цыганка.

Эта цыганка нагадала, что проживёт Мария Николаевна девяносто три года.

Об этом необычном, странном гадании много раз Мария Николаевна вспоминала.

И ведь в самом деле, гадание отдавало пророчеством.

Так ведь всё и случилось.

Мария Николаевна, получается, словно закодировала себя на все свои годы. И прожила действительно девяносто три года. Ещё и на полгода больше – из упрямства ли, вопреки ли

конкретике предсказания, или просто – от рисковости, бывшей в её характере, – ну прямо как её мать, протянувшая командиру красноармейского отряда вместо охранной грамоты случайную бумажку, или ещё по какой причине, – уж и не знаю, – но это была Мария Николаевна, а не кто-нибудь, и она и в этом отчасти победила судьбу, и воля её оказалась сильнее воли цыганки-гадалки.

Мария Николаевна была настоящей дамой, – той, прежней ещё, самой крепкой, закалки.

Передать это я даже и не берусь.

Это следовало видеть самому, это надо было оценить, почувствовать.

Сколько шарма и всепокоряющего обаяния таилось в этой невысокой, до глубокой старости стройной, с прекрасными манерами, с прямой спиной, с открытым, лучистым взглядом голубых глаз, с изящными маленькими руками, с чудесными пушистыми волосами, и вовсе не хрупкой, нет, крепенькой, ладной, пропорционально сложенной женщине, которую и язык-то ни у кого не поднимался назвать старухой!

Какая там ещё старуха? Чушь!

Молодость, вечная, как весна, всегда жила в ней.

Она умела быть естественной в отношениях абсолютно со всеми, сразу находила общий язык и с теми умниками из интеллигентской среды, что называются высоколобыми, и с

местными жителями, и со старинной её, задушевной приятельницей, молочницей Клавой, добрых сорок лет, наверное, приносившей к ней на веранду свежее, недавно надоенное молоко и страсть как любившей присесть ненадолго, потолковать о том, о сём.

Вот уж кто любил Марию Николаевну – так это Клава.

Иногда я вижу её в посёлке.

Клава, женщина простая, деревенская, истовая труженица, одна, без давно умершего мужа, вытаскивающая на своих плечах огромное своё хозяйство, в котором, помимо целого стада коров, есть еще и всякая домашняя птица, и кабаны, и кошки, и собаки, Клава, работающая, год за годом, от зари и до зари, и вместе с тем натура ещё и романтическая, поэтическая, потому что, разыскивая порой своих разбредшихся по окрестным холмам коров, любит она думать свои думы, провожает улетающих на юг журавлей, сочиняет даже собственные песни – и поёт их, там, подальше от всех, на холмах, для души, – Клава, человек очень хороший, верный Марии Николаевне человек, вспоминает её с такой любовью, с такой нежностью, находит для выражения своих мыслей и обуревающих её чувств такие светлые, предельно искренние, глубокие и добрые слова, что у меня порой слёзы наверачиваются на глаза, когда я слушаю её сбивчивые, но просто потрясающие меня своей откровенностью и неугасимой любовью речи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.